



В. А. ЗЛОБИН

Д. С. Мережковский и его борьба с большевизмом

I

В предвоенной, большевизантствующей Европе Д. С. Мережковский своим антибольшевизмом, да еще на христианской основе, был не ко двору.

Не ко двору был он и при Гитлере — не как антикоммунист и даже не из-за своего христианства, с которым «Propaganda Staffel» * на худой конец еще могла бы, морща нос, примириться. Но совершенно для нее неприемлемо было отношение Мережковского к России, его неколебимая вера в ее национальное возрождение.

О неколебимости этой веры немцы знали (кому знать полагалось) по еще довоенным статьям Мережковского (следили за русской зарубежной прессой пристально) и по его публичным выступлениям. Но и во время войны Мережковский своих взглядов не скрывал. Что немцы могут найти в них что-либо предосудительное, ему и в голову не приходило.

Его книги были запрещены во всех немцами занятых странах, не говоря уже о самой Германии, где его знаменитый «Леонардо» продавался из-под полы. Исключение было сделано для одной Франции, но чисто теоретическое. Произведения Мережковского французские издатели покупали, но не печатали — из-за «недостатка бумаги».

Одну книгу, впрочем, — «Europe face à l'URSS» ** — издательство «Mercur de France» каким-то чудом выпустило умудрилось — в самом конце оккупации.

* «Ведомство пропаганды».

** «Европа смотрит на СССР».

Это было новое, переработанное и дополненное издание давно распроданной антикоммунистической книги «Le Règne de l'Antichrist» *. В него вошли нашумевшие в свое время «Открытые письма» Мережковского к «сильным мира сего», в том числе письма к папе Пию XI, и ряд статей, разоблачающих подпольную работу большевиков в Европе.

Ныне это издание — библиографическая редкость. Не оттого, однако, что оно распродано, а исключительно благодаря усердию французских коммунистов, целиком его уничтоживших вскоре после освобождения Парижа от немцев.

Расправа — не менее решительная — ждала и автора. К нему на его парижскую квартиру, 11-бис Авеню дю Колонель Бонне, явилось несколько вооруженных пулеметами мрачного вида личностей, перепугавших насмерть консьержку. Но Мережковского в живых уже не было, и «мстители» ретировались несолоно хлебавши.

Вообще, коммунистической «Немезиде» с Мережковскими не везло. Ускользнула от ее карающей десницы и З. Н. Гиппиус, расправа с которой должна была произойти 15 октября 1945 г., т. е. через шесть недель после ее смерти.

II

На этом коммунисты, однако, не успокоились. Началась по-смертная травля Мережковского. Но травили его, главным образом, не как антикоммуниста. Зазорного в этом, даже по тем временам, не было ничего. Скорее — наоборот. После того, как большевики начали хозяйничать в своих «зонах» и распространять свое влияние на Балканах, особенно же после захвата ими Чехословакии, союзники поняли, что метод и режим советский от национал-социалистического мало чем отличается и что, если уж выбирать, преимущество не на стороне большевиков. Сказал же Бевин с трибуны парламента в бытность свою министром иностранных дел в кабинете Этли: «Единственная разница между Гитлером и Сталиным — это, что Гитлер уже мертв».

Таким образом, травля Мережковского за его непримиримость к советской власти могла бы, при всеобщем раздражении против надоевших до смерти большевиков, дать результат обратный, например третье издание «Europe face à l'URSS». С этим надо было считаться и действовать осторожно. А с другой стороны, как

* «Царство Антихриста».

Мережковского обезвредить? Чем? Обвинить его в сотрудничестве с немцами? В антисемитизме? Но ведь этому, кроме дураков и невежд, не поверил бы никто.

Однако выбора у коммунистов не было. Да и время шло. И вот в «Честном слоне» начала появляться то одна заметка, то другая. (Этот «Слон» — юмористический большевистский листок, издававшийся в освобожденном от немцев Париже, был вскоре самими же большевиками прекращен за свое, даже на их вкус, чрезмерное подхалимство.)

В одной из этих заметок говорилось, что Мережковский «сманивал молодежь на службу в гестапо». Другая гласила: «За смертью писателя Мережковского французское военное министерство прекратило начатое против него дело по обвинению в шпионаже».

Шпионаж подразумевался, конечно, в пользу Германии. Что можно было на это ответить? Ну и прекрасно, что прекратило. А было бы еще лучше, если бы это дурацкое дело не затевали бы вовсе. Что же до сманивания в гестапо молодежи, то этому не верили сами коммунисты. Несколько позже в нью-йоркском «Новом русском слове» были напечатаны о Мережковском воспоминания ныне покойной Н. А. Тэффи. Что в них правда, что — вымысел, решит беспристрастный суд истории. Сама Тэффи многое из сказанного ею о Мережковском в следующей своей статье — о З. Н. Гиппиус — смягчает (речь все о том же «германофильстве» и «антисемитизме»). Но главное не в этом, главное — в общем впечатлении от статьи. Она вызывает — не может не вызывать — у тех, по крайней мере, кто Мережковского знал и читал, прежде всего — недоумение. Ведь если Мережковский действительно был таким, каким его изображает Тэффи, то совершенно непонятно, как мог такой, скажем, «кретин» написать ну хотя бы «Юлиана», не говоря уже о других, более значительных произведениях. Представить себе это так же трудно, как представить себе, например, что автор «Божественной комедии» — Смердяков.

III

На первой же своей парижской публичной лекции против большевиков, 16 декабря 1920 г., Мережковский, обращаясь к Европе, сказал: «Народам иногда прощается глупость, а иногда и подлость. Но глупость и подлость вместе — никогда. То, что вы

с нами делаете, подло и глупо вместе. Это вам никогда не простится».

Подло и глупо было невмешательство Европы в так называемые «внутренние русские дела». И вот добрая ее треть — ныне под властью большевиков. Не простилось соединение глупости с подлостью и Гитлеру, поставившему знак равенства между большевиками и русским народом. Вот с этим губительным соединением глупости и подлости, чем бы и когда бы оно антибольшевистскому делу ни грозило, Мережковский борется всею силою своего таланта и отдает этой борьбе последние двадцать лет жизни.

Его парижской лекции предшествует ряд выступлений в Польше на разнообразные темы. Но какова бы ни была тема, цель неизменно одна — свержение советской власти.

В 21-м году, во время начинающегося в России голода, он получает оттуда подписанное кровью письмо от группы русских женщин, несчастных матерей, умоляющих вывезти их детей из России, вырвать их из рук советских палачей — не только их накормить, но и спасти их души. Сколько бы Европа ни посылала хлеба в Россию, он до голодающего населения не дойдет.

Мережковский, который думает не иначе, публикует это «страшное письмо» — действительно страшное, — как он его называет в иностранной прессе. Фритьоф Нансен, ходатай по делам большевиков, усиленно в то время хлопочущий о предоставлении им европейских кредитов, прочтя то письмо, которое он, кстати, страшным не находит, отвечает, что готов, во имя человеколюбия, содействовать помощи голодающим, но вне всякой политики. Мережковский за этот его «аполитизм» на него обрушивается.

Чтобы понять атмосферу того времени, надо вспомнить, что большевики тогда признаны Европой еще не были, всячески этого признания добивались, и что запятнавший себя сношением с ними из среды русской эмиграции изгонялся. Вот отчего, когда комиссаром по беженским делам был Лигою Наций назначен Нансен, это назначение было встречено русскими эмигрантами приблизительно так же, как было бы встречено бежавшими из гитлеровской Германии евреями назначение над ними комиссаром видного наци.

«Мы Вас, г. Нансен, не выбирали, — пишет ему в открытом письме Мережковский. — Если б нас спросили, то вряд ли наш выбор пал бы на ходатая того “правительства”, из-под власти которого мы бежали. Но мы бесправны и обязаны терпеть, кого бы ни назначили. Если б вместо Вас назначили Кашена, мы стерпели бы и его».

Сам по себе аполитичный, чисто гуманитарный акт помощи голодающим при наличии в России большевистского правительства терял весь свой аполитизм и всю свою гуманитарность, становился этапом на пути признания Европой большевиков *de jure*. Это и сами большевики, и противники их понимали отлично. Оттого-то и спор между ними из-за отправки в Россию продовольствия был так горяч, и вопли большевиков о помощи становились все громче и наглее.

На пощечину Мережковского Нансен не отвечает. Ему на подмогу большевики выпускают Горького, который обращается к миру с воззванием о спасении «миллионов русских жизней». Известный немецкий писатель Герхарт Гауптман попадает на удочку и отвечает Горькому, что его призыв будет услышан не только немецким, но всеми народами.

Мережковский пишет открытое письмо Гауптману. С величайшим терпением объясняет почтенному писателю, что такое большевизм, чем он угрожает миру, кто такой Горький, что он сделал с русской интеллигенцией, а главное, что за Горьким — Ленин и что помощь, о которой Горький взывает, — помощь не России, а трещащей по всем швам советской власти. Русской компартии и ГПУ.

Единственный результат — меры, принятые Комитетом помощи голодающим по доставке продовольственных посылок адресатам непосредственно, с собственноручной обратной распиской, без вмешательства большевистского распределительного аппарата. На ход мировой истории это, однако, не влияет ни в малейшей степени. Но зато чревато последствиями совершившееся, увы, признание Европой большевиков...

IV

Что оно неизбежно — почти не было сомнений уже после поездки в Россию Герберта Уэллса и его книги «Россия во мгле». В этой книге знаменитый английский писатель утверждает, что, хотя большевики и ужасны, и коммунизм — глупость, никакое другое правительство в настоящее время в России невозможно, и советует эмигрантам поскорее с большевиками примириться.

Слишком явно, что тут Уэллс говорит то, чего от него ждет подготовляющий признание большевиков Ллойд Джордж («Торговать можно и с каннибалами» — его знаменитая фраза). Но что Уэллс, это «первый соучастник каннибаловых пиров», как его называет Мережковский, на стороне Советов — неверно. Он во-

обще ни на чьей стороне — нигде. Безответствен и беспринципен, и в этом — достойная пара Горькому.

«В том, что произошло и происходит сейчас в России, — говорит в своей книге Уэллс, — большевики так же виноваты, как австралийское правительство». Эта фраза, достойная не то что Горького, а такого большевизантствующего сноба, как Бернард Шоу (не тем будь помянут), Ллойд Джорджу тоже как нельзя более на руку.

Отвечая на совет Уэллса «примириться с большевиками», Мережковский рассказывает, как в Москве несколько человек детей, в возрасте от 10 до 14 лет, убили и съели своего товарища. Зачинщик, десятилетний мальчик, не проявил на суде ни малейшего раскаяния, а лишь сказал, что человеческое мясо на вкус «сначала — ничего, а потом пахнет».

«Не кажется ли Вам, — спрашивает Уэллса в открытом письме Мережковский, — что примиренье с большевиками, которое Вы нам так горячо рекомендуете, тоже «сначала — ничего, а потом пахнет»?

Но, подобно Бодлеру, тщетно пытавшемуся доказывать своей собаке, давая ей нюхать флакон с духами, что хороший запах приятнее дурного, Мережковский был бессилен удержать Европу в ее влечении к большевизму. Ей нравится «аромат Сталина».

Между тем «каннибалы», еще не будучи признаны, но в признании уверенные, начинают наглеть. В тот же день, когда «Известия» печатают излияния Эррио по поводу советских «достижений», где он между прочим заявляет: «Президент Пуанкаре просил меня передать советскому правительству свою признательность», в этот же самый день Луначарский, на съезде работников печати, произносит речь, в которой говорит: Франция поняла, что с этим бандитом Пуанкаре она далеко не уедет. Она послала нам другую важную птицу, Эррио, который, посовав свой нос туда-сюда, уже телеграфировал, что наша власть крепка. Пусть, однако, эти буржуи поторапливаются: прежде, чем начать отхватывать куски пожирнее, они могут взлететь на воздух от революционного взрыва.

V

Но и после признания большевиков Мережковский борьбу с ними не прекращает. Он разоблачает их подпольную работу в Европе, не устает повторять истины, «ставшие, — как он говорит, — банальными прежде, чем они стали понятными».

Одна из таких истин — невозможность большевиков порвать свою связь с коминтерном (или с коминформом, что одно и то же), отказаться от всемирной революции и пропаганды, какие бы они ни давали на этот счет обещания. Верить этим обещаниям — величайшая глупость, тем более, что своих планов большевики не скрывают, даже если и распускают для видимости эти почтенные учреждения.

«Некоторые факты современности, — говорит Мережковский в статье о подпольной работе большевиков во Франции, — до того невероятны, до того абсурдны, что невольно начинаешь подозревать у их авторов состояние безумия».

И он приводит один из таких фактов:

«В один прекрасный день, по не вполне для самого себя понятным причинам, правительство мирной и процветающей страны открывает свои двери группе иностранных террористов. Те не скрывают, что их главная, даже единственная цель — подготовка террора и что намеченная жертва именно эта страна. Тем не менее, правительство этой страны, не довольствуясь обычным приемом, окружает заговорщиков почестями и вниманием, дарит им дворец в центре города и, чтобы облегчить им работу по подготовке переворота, ставит их под защиту дипломатической неприкосновенности».

«Что сказали бы мы, — спрашивает в заключение Мережковский, — если б услышали историю вроде этой несколько лет тому назад? Думаю, что мы даже не нашли бы ее забавной ввиду ее полной неправдоподобности и совершенного абсурда».

«Впрочем, правительства европейских стран, — замечает он в другой статье на ту же тему, — не то чтобы не отдавали себе отчета в происходящей на их глазах и с их попустительства подрывной работе большевиков, но они пребывают перед этой злоеющей картиной, точно зачарованные, в состоянии полной прострации, и единственная их забота — это скрыть от страны грозящую ей опасность».

В 1922 году, во время конференции в Рапалло, распространяется слух о переговорах Святого Престола с представителями советского правительства о заключении конкордата. Газеты печатают отчеты о рауте и фотографиях, на которых папские кардиналы сняты пьющими с советским комиссаром по иностранным делам Чичериним за здоровье Ленина. Мережковский обращается к Пию XI с письмом, в котором не может скрыть своего возмущения.

На святой земле Италии, — пишет он в этом письме, — служители Западной Церкви, рукой, касавшейся Св. Даров, пожи-

мают окровавленную руку величайших в мире убийц и святотатцев. Ведают ли, что они творят?» Мережковский предупреждает папу, что, если «дело тьмы» совершится, конкордат между Святым Престолом и интернациональной бандой, именующей себя «русским советским правительством», будет подписан, соединение церквей, о котором мечтали лучшие русские умы, станет навсегда невозможным. В конце он выражает надежду, что Бог этого ужаса не простит — наместник Христа, благословляющий царство Антихриста.

В ответ на это аббат Шарль Кене, секретарь архиепископа парижского монсеньора Шапталя, издает против Мережковского совершенно непристойную по грубости брошюру. Если не знать, кто ее автор, то можно подумать, что это — член какой-нибудь погромной организации, вроде «Союза русского народа», а никак не лицо, принадлежащее к просвещенному кругу католического духовенства. Но Рим с этим не считается и возводит аббата Кене в кардинальский сан.

Конкордат, однако, не подписан. Но Мережковский себя не обманывает. Он понимает, что его вмешательство тут ни при чем.

IV

«Мировая совесть! Мы с Вами кое-что о ней знаем», — восклицает Мережковский в открытом письме Эмилю Бюре, редактору парижской газеты «L'Ordre», в ответ на его просьбу высказаться по поводу обращенного к «мировой совести» воззвания группы русских писателей в России.

И он подводит итог своей антибольшевистской деятельности. Он рассказывает, как в 20-м году, вырвавшись живым из могилы, он с наивностью думал, что «мировая совесть» молчит только оттого, что правда о России не известна и что стоит эту правду открыть, как мир, содрогнувшись и возмущившись, кинется тушить пожар — не русский, а свой, спасти — не Россию, а себя от общей гибели.

«И я призывал, вопил, умолял, заклинал, — признается он. — Мне даже стыдно сейчас вспомнить, в какие только двери я не стучался. Меня отовсюду выпроваживали с позором, даже не как назойливого нищего, а как последнего дурака, который не может утешиться о пропаже своих “серебряных ложек”, украденных во время пожара...»

«И вот, в лоне вашей европейской свободы, перед зрелищем ужасающего равнодушия, с каким вы относитесь к собственной

гибели, я задыхался, как задыхаются заключенные в “пробковых камерах” Чека. Вы, наверно, ужаснетесь моей неблагодарности, но я иногда спрашиваю себя, какая из двух “пробковых камер” хуже — наша или ваша?»

В начале 30-х годов всеми признанные большевики становятся «баловнями Европы», Мережковский продолжает с ними борьбу, но его голос сквозь стены «пробковой камеры» до мира не долетает. Иностранная пресса больше Мережковского не печатает или требует от него статей не политических. А издания русские, где он продолжает писать и где появляются его статьи против большевиков, самые значительные иностранцам недоступны. Ни одна из этих статей ни на один европейский язык не переведена.

Что он здесь, в Европе, кончит свои дни в «пробковой камере», от которой его не избавит даже смерть, — этого себе представить Мережковский, при всей живости своего воображения, не мог. Но катастрофу, вторую мировую войну, он предчувствовал, когда еще как будто ничто ее не предвещало. Ему даже казалось, что эта катастрофа будет гибелью Человечества — новой «Атлантидой». В 23-м году, отвечая на анкету швейцарского ежемесячника «La Revue de Genève» о «будущем Европы», он в его январской книжке печатает краткую, но очень яркую статью. Если опустить обычные в таких случаях оговорки, надежды и комплименты, то будущее Европы выражается для Мережковского одним словом: антропофагия.

Но сейчас об этом страшном пророчестве лучше не вспоминать. Как сказала еще в начале первой мировой войны З. Гиппиус:

В часы неоправданного страданья
И нерешенной битвы
Нужно целомудрие молчанья
И, быть может, тихие молитвы.

